Гозенпуд А. А. Музыкальный театр России: от истоков до Глинки. Л., 1959. [Gozenpud A. A. Muzykal'nyj teatr Rossii: ot istokov do Glinki. L., 1959.]

Гозенпуд А. А. Пушкин и русская оперная классика // Гозенпуд А. А. Избр. ст. Л. ; М., 1971. 240 с. [Gozenpud A. A. Pushkin i russkaya opernaya klassika // Gozenpud A. A. Izbr. st. L. ; M., 1971. 240 s.]

Даргомыжский А. С. «Русалка» : опера в 4 действиях : клавир. М., 1975. 321 с. [Dargomyzhskij A. S. «Rusalka» : opera v 4 dejstviyakh : klavir. M., 1975. 321 s.]

Денисенко С. В. Пушкинские тексты на театральной сцене в XX веке. СПб., 2010. 532 с. [Denisenko S. V. Pushkinskie teksty na teatral'noj stsene v XX veke. SPb., 2010. 532 s.]

Лаптева Е. Р. Поэтика литературного либретто на сюжеты произведений А. С. Пушкина в русской опере XIX—XX веков : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2002. 18 с. [Lapteva E. R. Poetika literaturnogo libretto na syuzhety proizvedenij A. S. Pushkina v russkoj opere XIX—XX vekov : avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. Ekaterinburg, 2002. 18 s.]

Пушкин А. С. Русалка // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. : в 10 т. Т. 5. Л., 1978. С. 360—385. [Pushkin A. S. Rusalka // Pushkin A. S. Poln. sobr. soch. : v 10 t. T. 5. L., 1978. S. 360—385.]

Рабинович А. С. Русская опера до Глинки. Л., 1948. 268 с. [Rabinovich A. S. Russkaya opera do Glinki. L., 1948. 268 s.]

Серов А. Н. Русалка : опера А. С. Даргомыжского. М., 1953. 160 с. [Serov A. N. Rusalka : opera A. S. Dargomyzhskogo. M., 1953. 160 s.]

Статья поступила в редакцию 19.04.2013 г.

УДК 821.161.1-31 Достоевский + 316.462 + 395.3 **Е. Г. Постникова**

ФЕНОМЕН ВЛАСТИ В «ДВОЙНИКЕ» Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

Утверждается, что в ранних произведениях Достоевского тема власти тесно связана с темой иерархического социума. «Начальство» показано как некая сакральная сила. Неуважение к начальнику чревато гибелью. Наказание — болезнь и смерть. В «Двойнике» Достоевского ремифологизированы древние дохристианские представления о власти как магической силе, связанной с миром мертвых, с предками.

Ключевые слова: Достоевский; власть; иерархия; самозванство; двойничество.

К теме власти молодой Достоевский подходит издалека и очень осторожно. Определенные наметки этой важнейшей для писателя темы можно обнаружить уже в «Бедных людях» и «Двойнике». В ранних произведениях тема власти вырастает из более мощной, имеющей богатые традиции в русской литературе темы иерархического социума, в котором как-то пытается прожить, но теряется, «затирается» маленький человек.

Четкая иерархия человеческого социума во многом обусловливается феноменом власти. Власть как социально-политический феномен существует только в иерархическом обществе. Власть и иерархия связаны, как дух и материя. Мы можем утверждать, что власть — это способ организации социума. В изображении

© Постникова Е. Г., 2013

русской литературы социальная иерархия несет в себе черты сакрального (Божественного) космоса. При этом в литературе XIX в. было сильно сатирическое начало, которое «взрывало изнутри» привычные представления о «правильном» русском мироустройстве, усматривая в нем «несомненный вызов элементарному здравому смыслу», что вело к десакрализации социального космоса и демифологизации власти. Достоевский усвоил тенденцию, идущую от Гоголя, изображать социальный космос как мертвый. Особенно сильны гоголевские традиции в «Двойнике».

В «Двойнике» Достоевского дана картина общества, которое представляет собой четкую иерархическую систему. Всякий человек знает свое, отведенное ему место. В этом социальном космосе на каждого «маленького человека» есть свой «начальник», над этим «начальником» стоит кто-то рангом повыше, и так далее, вплоть до «Его превосходительства», который в повести Достоевского воплощает в себе некое космическое начало, высшую силу, сакральную власть. Склонность русского чиновника обожествлять «Его Превосходительство», опирающаяся на древнейшую традицию сакрализации власти, отразилась, к примеру, в сцене, когда Голядкин идет искать справедливость и защиту (заступничество) у высшего начальства:

> Нет, я вот как сделаю: отправлюсь, паду к ногам, если можно, униженно буду испрашивать. Дескать, так и так; в ваши руки судьбу предаю, в руки начальства; дескать, ваше превосходительство, защитите и облагодетельствуйте человека; так и так, дескать, вот то-то и то-то, противозаконный поступок; не погубите, принимаю вас за отца, не оставьте... амбицию, честь, имя и фамилию спасите... и от злодея, развращенного человека спасите... <...> перемените, благоволите, велите переменить — и безбожный, самодовольный подмен уничтожить... не в пример другим, ваше превосходительство. Принимаю вас за отца. <...> Дескать, принимаю вас, благодетельное начальство, за отца и вверяю судьбу свою и прекословить не буду, вверяюсь и сам отстраняюсь от дел... дескать, вот оно как! [Достоевский, т. 1, с. 213][1].

Петербургский чиновник Голядкин начинает вдруг воспроизводить стереотипы и поведенческие модели властных отношений, характерные для традиционной культуры: почитать за отца, пасть к ногам, униженно испрашивать, передать судьбу в руки начальства. Характерны и формулы обращения к власти: *защитите, не погубите, не оставьте, спасите, благоволите, велите переменить, вверяю судьбу свою и прекословить не буду*. Просьбу *безбожный и самодовольный подмен уничтожить* начальник способен удовлетворить потому, что в какой-то степени, является гарантом правильного, Божественного порядка, «живым образом» сакрального первообраза, воплотившим в себе наместническую модель власти.

Высший «начальник» в буквальном смысле несет в себе высшее начало, олицетворяет собой космос (черный фрак) и звезды: «Когда наш герой вошел, то почувствовал, что как будто ослеп, ибо решительно ничего не видал. <...>

[1] Далее цитируется по данному изданию с указанием страниц цитируемого текста.

Наконец, наш герой стал ясно отличать звезду на черном фраке его превосходительства, потом, сохраняя постепенность, перешел и к черному фраку, наконец, получил способность полного созерцания» [с. 215]. В этом, по сути мистическом, видении Голядкина, когда после временного ослепления нашему герою является сначала звезда на черном космическом фоне, а затем только постепенно начинает проявляться образ «Его Превосходительства», как некое воплощение на земле Божественного первообраза, отразились, на наш взгляд, представления об иерархическом отображении земным сущим (образом) небесного должного (первообраза) [см.: Андреева, с. 75]. Характерен и мотив ослепления. Такая реакция — это нормальная реакция простого человека, представшего перед Богом (в данном случае — божественным властителем), лица которого нельзя видеть и не умереть [Мифы народов мира, т. 2, с. 166]. Вспомним, к примеру, историю Моисея, которому по особой милости была явлена вся сила Яхве, но таким образом, что он видит Яхве сзади, ибо лицо Бога нельзя увидеть и не умереть (Исх. 33 : 18—23); после такой милости лицо самого Моисея сияет столь явственно, что к нему боятся подойти, и ему приходится носить на голове покрывало (Исх. 34 : 29—35).

Конечно, в том, как изображает Достоевский поход Голядкина за правдой к высшему лицу, отразилась особенная способность сатирического изображения мифологизировать реальность и тут же разрушать только что созданный миф, вскрывая противоречие между объективным несовершенством бытия и его претензией на совершенство. Однако необходимо отметить, что подобное мироотношение петербургского чиновника, совершенно справедливо осмеянное русской литературой, имеет более глубокие корни и традиции, чем это может показаться на взгляд европейски образованного, воспитанного в секуляризованной культуре рационального человека. Для нас важно, что подобные мистические видения наш герой начинает наблюдать в кризисный, переломный момент его жизни, когда рушится обычная рациональная картина мироздания и он совершенно теряется: «Тут человек пропадает, тут сам от себя человек исчезает и самого себя не может сдержать...» [с. 213]. В момент личной катастрофы подсознание героя начинает актуализировать архаические модели поведения, основанные на соответствующих иррациональных представлениях о власти и иерархических отношениях.

Четкая иерархия — это черта сакрального космоса, мироздания, понимаемого как целостная, упорядоченная, организованная законом меры и справедливости вселенная, противостоящая хаосу [см.: Мифы народов мира, т. 2, с. 9]. А представитель высшей власти — мифический герой, который имеет силы этот космос защитить и восстановить. Не случайно Голядкин обращается к «Его превосходительству» как к имитатору высшей Божественной власти с просьбой «безбожный, самодовольный подмен уничтожить», т. е. восстановить божественный порядок.

Традиционным образом власти, наряду с Богом и Царем, является отец. Напомним русскую поговорку: государь — отец, Земля — мать. Достоевский очень тонко прочувствовал отеческую природу русской власти. Несколько раз в повести Голядкин актуализирует эту мифологему: «Принимаю начальство за

отца» [с. 196]; «Принимаю благодетельное начальство за отца» [с. 198]; «Принимаю вас за Отца» [с. 198]. Практически во всех процитированных случаях обращения к «начальнику» как отцу Голядкин позволяет себе тут же «напомнить» вышестоящему о должном его поведении. «Принимаю вас за отца; начальство, конечно благодетельное и попечительное начальство подобные движения должно поощрять...» [с. 213], и еще «Я думаю, Андрей Филиппович, что начальство должно поощрять подобные движения [с. 196].

Возможно, такое, несколько нахальное со стороны Голядкина, указание начальству на то, что оно «должно», параллельно с упором на тему отцовства власти указывает на опосредованное знакомство героя с характерными для древнерусской культуры представлениями о «праведном» царе, несущем ответственность за врученный его попечению мир. У Б. А. Успенского и В. М. Живова читаем: «...власть князя и его право суда оказались в этой перспективе вовсе не абсолютными, но делегированными Богом на жестких условиях, нарушение которых приводило к полному расподоблению властителя и Бога, к тому, что Бог отказывался от царя, осуждал и низвергал его» [Успенский, Живов, с. 212—213]. Характерна при этом реакция на выпады Голядкина «благодетельного и попечительного» начальства: «Андрей Филиппович, слушая господина Голядкина, до того удивился, что как-то невольно о т ш а т н у л с я шага на два назад» (здесь и далее в цитатах разрядка наша. — *Е. П.*) [с. 196] и «Его превосходительство о т в е р н у л с я» [с. 216]. Видимо, концепция «праведного царя» в российской империи XIX в. уже является анахронизмом.

Какое-то время Голядкин обращается к такому традиционному пониманию власти, пытаясь удержать свой мир от окончательного разрушения. С помощью древнерусской христианской традиции восприятия власти он пытается объяснить себе появление двойника в департаменте, чтобы как-то смириться с ситуацией: «...промысел Божий создал двух совершенно подобных, а благодетельное начальство, видя промысел Божий, приютили двух близнецов-с» [с. 198]. В какой-то момент, думая о самозванце, Голядкин приходит к выводу: «Человек же он бедный, затерянный, запуганный; тут сердце болит, тут сострадание его призреть велит! Да! Нечего сказать, хороши бы были наши начальники, если б так рассуждали, как я, забубенная голова!» [с. 172]. На наш взгляд, в этом внезапном взгляде на самозванца сквозь систему христианских ценностей и в соотнесении этой системы с деятельностью «начальника» отразилось представление о «сакраментальном присутствии Христа в персоне властителя и идея о подобии земной социальной иерархии иерархическому строению Царствия Небесного» [Андреева, с. 76]. Опираясь на сатирические традиции русской литературы, Достоевский вскрывает противоречие между симулирующей значимость и христоподобность формой феномена власти и его ничтожным, антихристианским содержанием.

Отеческая семантика власти подчеркивается в определении, которое Голядкин, сам не понимая глубины смысла, заложенного в нем, дает своему непосредственному начальнику, — медведь. Вот как описана встреча Якова Петровича с молодыми сослуживцами в самом начале повести:

— Ну, а что, медведь наш сидит?..

— Кто это, Яков Петрович?

— Ну, медведь-то, будто не знаете, кого медведем зовут?.. — Господин Голядкин засмеялся и отвернулся к приказчику взять с него сдачу. — Я говорю про Андрея Филипповича, господа, — продолжал он, кончив с приказчиком и на этот раз с весьма серьезным видом обратившись к чиновникам. Оба регистратора значительно перемигнулись друг с другом [с. 124].

Напомним, что в мифологии медведь — это первопредок, родоначальник, культурный герой, основатель традиции, тотем [см.: Мифы народов мира, т. 2, с. 128]. Наименование начальника медведем определяется не только его возможным внешним сходством с этим животным (о таком сходстве в повести ничего не говорится), но скорее всего — с древними дохристианскими представлениями о властителе как маге, связанном с миром предков [см.: Бочаров, 2006а, с. 230]. Перемигивание регистраторов и их недоумение в этой сцене может означать, с одной стороны, разоблачение Голядкина как короля-шута, с другой стороны, оно может быть связано с нарушением Голядкиным негласного табу на произнесение имени начальника в прямом соотношении с его прозвищем или вторым (табуированным) именем.

Можно предположить, что в какой-то степени попытка Голядкина иронизировать над начальником, забыв на мгновение сакральный смысл власти и ее мистическую связь с миром предков, инициирует жизненную катастрофу, приведшую в дальнейшем к появлению двойника и сумасшествию героя. Позднее, когда Голядкин окончательно «проваливается» и теряет место, он прозревает: «А ведь это все медведь мастерит. Во все это обстоятельство медведь замешался» [с. 191]. Свое фиаско, «выпадение» из социально-иерархической системы герой воспринимает как дьявольскую интригу самозванца и месть «медведя» (первопредка), которая объясняется не только простыми бытовыми причинами (Андрей Филиппович проталкивает по служебной лестнице своего племянника, «нещечко» Владимира Семеновича), но и древнейшими законами традиционной политической культуры, которые предполагают строжайшее наказание за несоблюдение подчиненными этикета и поведенческих табуиций, регламентирующих взаимодействие между соподчиненными элементами общества.

Мы подошли вплотную к вопросу, в чем причина «падения» Голядкина, выбивания его из социальной иерархии и подмены двойником-самозванцем. Самый очевидный, с нашей точки зрения, вариант ответа на этот вопрос лежит на поверхности и сразу возникает при беглом анализе семантики поведения героя до «изгнания» из дома Олсуфия Ивановича и исследовании «прочтения» этой семантики культурным (чиновничьим) сообществом.

Исследователи утверждают, что особую роль в оформлении властных отношений играют символы власти. Под символом власти можно понимать и некий материальный предмет (знак), и модель поведения. Символы власти маркируют статус индивида, отмечают его место в социальной и политической иерархии. Парадокс заключается в том, что символы, семиотические атрибуты не только оформляют власть, но и в известной степени ей тождественны [Бочаров, 2006б, с. 275]. В русской чиновничьей культуре символ всегда эффективно

организовывал поведение субъектов властных отношений. Было принято демонстрировать лояльность власти с помощью конкретных этикетных норм, поведенческих стереотипов. Современный исследователь отмечает: «Набор подобных поведенческих моделей, учитывая богатейшие традиции нашей бюрократической культуры, чрезвычайно широк и достоин специального исследования. Он состоит из общепринятых норм: как-то встать при появлении начальника, пропустить его вперед, поспешно открыв перед ним дверь, обозначить поклон и заискивающую улыбку в ответ на рукопожатие, при этом глубина поклона соотносится с рангом руководителя» [Там же, с. 280].

Обратим внимание, что в самом начале повести Голядкин стремится продемонстрировать знаки власти, которые явно не соответствуют его социальному положению. Одним из первых жестов проснувшегося Голядкина в самом начале повести является извлечение из потайного места толстого бумажника и пересчет накопленных денег: «Семьсот пятьдесят рублей... знатная сумма! <...> Это приятная сумма. <...> Такая сумма может далеко повести человека» [с. 110]. «Знатная сумма» становится знаком власти для Голядкина и движущим мотивом, причиной его дальнейших действий. «Деньги — власть», деньги как способ приобретения власти и как форма ее выражения — сквозной мотив русской и зарубежной литературы. «Герой Достоевского ведет себя в свете сюжетной темы “накопление денег — обретение власти”, восходящей к “Скупому рыцарю” А. С. Пушкина, к произведениям западноевропейской литературы», — отмечает Н. Г. Михновец [Михновец, с. 108]. В первой же главе появляются и другие семиотически значимые атрибуты власти:

• ливрея слуги Петрушки («Надев ливрею, Петрушка, глупо улыбаясь, вошел в комнату барина. Костюмирован он был странно донельзя. На нем была зеленая, сильно подержанная лакейская ливрея, с золотыми обсыпавшимися галунами, и, по-видимому, шитая на человека ростом на целый аршин выше Петрушки» [с. 111]);

• карета («Голубая извозчичья карета, с какими-то гербами, с громом подкатилась к крыльцу» [с. 112]);

• сапоги («И сапоги принесли?» [с. 111]);

• вицмундир («...натянул вицмундир тоже новехонький и тщательно вычищенный» [с. 111]);

• толстый бумажник (Голядкин специально разменивает купюры, чтобы бумажник казался толще: «разменял всю крупную бумагу на мелкую, и хотя потерял на промене, но все-таки разменял, и бумажник его значительно потолстел» [с. 122]).

Несколько забегая вперед, отметим реакцию на этот «костюмированный» выход лакея Голядкина Петрушки: «Заметно было еще, что во время осмотра Петрушка глядел с каким-то странным ожиданием на барина и с необыкновенным любопытством следил за всяким движением его, что крайне смущало господина Голядкина»; «Впрочем, в это утро господин Голядкин был крайне рассеян, потому что почти не заметил улыбочек и гримас на свой счет помогавшего ему одеваться Петрушки»; «Петрушка, перемигиваясь с извозчиком и с кое-какими зеваками, усадил своего барина в карету; непривычным голосом и

едва сдерживая дурацкий смех, крикнул: «Пошел!», вскочил на запятки, и все это, с шумом и громом, звеня и треща, покатилось на Невский проспект» [с. 112]. Любопытство, перемигивание и «дурацкий смех» Петрушки над барином разоблачают в Голядкине самозваного царя-шута. Подключенные к семантике карнавала символы власти (карета, ливрея, сапоги, вицмундир) становятся атрибутами «ряжения», предваряя появление самозванца-двойника в повести.

Обладание знаками власти дает герою ложное чувство свободы, собственной значимости, весомости, авторитета. Вооружившись материальными атрибутами власти, Голядкин чувствует себя вполне человеком иного социального статуса и совершает несколько фатальных ошибок, отступая от принятого в чиновничьем мире этикета взаимодействия между соподчиненными элементами. Он сплошь и рядом начинает нарушать негласный закон демонстрации вышестоящим «начальникам» паттернов лояльности.

К примеру, он вдруг забывает «правильно» поздороваться с начальником: «Господин Голядкин, видя, что Андрей Филиппович узнал его совершенно, что глядит во все глаза и что спрятаться никак невозможно, покраснел до ушей. «Поклониться иль нет? Отозваться иль нет? Признаться иль нет? — думал в неописанной тоске наш герой, — или прикинуться, что не я, а кто-нибудь другой, разительно схожий со мною, и смотреть как ни в чем не бывало? Именно не я, не я, да и только! — говорил господин Голядкин, снимая шляпу пред Андреем Филипповичем и не сводя с него глаз. — Я, я ничего, — шептал он через силу, — я совсем ничего, это вовсе не я, Андрей Филиппович, это вовсе не я, не я, да и только». Скоро, однакож, дрожки обогнали карету, и магнетизм начальниковских взоров прекратился» [с. 113]. Снимая шляпу перед начальником, Голядкин демонстрирует знание светских приличий, но не соблюдает этикет, регламентирующий общение властного лица и подвластных в российской чиновничьей культуре: он не кланяется, не здоровается, не улыбается заискивающе, не пропускает вперед, т. е. не демонстрирует знаков лояльности вышестоящему начальству.

Отметим здесь, что, в отличие от Голядкина-старшего, его удачливый двойник Голядкин-младший демонстрирует власти все возможные вербальные и невербальные паттерны лояльности: правильно обращается к «начальству» («...желаю служить и особенно под вашим лестным начальством... ну и там все, что следует, знаете ли, ловко все выразил» [с. 150]), улыбается заискивающе, юлит и семенит («улыбался, юлил и семенил в почтительном расстоянии от Андрея Антоновича и что-то с восхищенным видом нашептывал ему на ушко» [с. 165]), внимательно слушает и преданно смотрит («Он весь обратился в слух и зрение, как-то странно съежился, вероятно, чтоб удобнее слушать, не спуская глаз с его превосходительства, и изредка только подергивало его руки, ноги и голову какими-то едва заметными судорогами, обличавшими все внутренние, сокровенные движения души его» [с. 199]. Четкое соблюдение поведенческих стереотипов вызывает одобрение «начальства», и вот уже двойнику доверяют знаки «высшей власти» — портфель и карету («...у подлеца под мышкой был огромный зеленый портфель, принадлежащий его превосходительству» [с. 192]; «у крыльца загремела карета его превосходительства. <...> Приехавший был

не кто иной, как господин Голядкин-младший» [с. 193]). «Подлец»-самозванец не повторяет ошибок героя. Он никогда не присваивает себе символы власти, соблюдая субординацию.

Возвращаясь к Голядкину-старшему, напомним, что он вдруг совершает несколько неожиданных «нападений» на важных персон. Так, совершенно без приглашения заявляется он к доктору медицины и хирургии Крестьяну Ивановичу Рутеншпицу, обладающему всеми символами Значительного лица: «...Рутеншпиц, весьма здоровый, хотя уже и пожилой человек, одаренный густыми седеющими бровями и бакенбардами, выразительным сверкающим взглядом, которым одним, по-видимому, прогонял все болезни, и, наконец, значительным орденом, — сидел в это утро у себя в кабинете, в покойных креслах своих, пил кофе, принесенный ему собственноручно его докторшей, курил сигарету и прописывал от времени до времени рецепты своим пациентам» [с. 114]. В процессе разговора герой вдруг хватает доктора медицины за правую руку. Затем происходит «странная сцена»: «Тогда произошла довольно странная сцена. Немного озадаченный, Крестьян Иванович на мгновение будто прирос к своему креслу и, потерявшись, смотрел во все глаза господину Голядкину, который таким же образом смотрел на него. Наконец, Крестьян Иванович встал, придерживаясь немного за лацкан вицмундира господина Голядкина. <...> Всхлипывая, кивая головой и ударяя себя в грудь правой рукою, а левой схватив тоже за лацкан домашней одежды Крестьяна Ивановича, хотел было он говорить и в чем-то немедленно объясниться, но не мог и слова сказать» [с. 118].

Подобная сцена происходит позднее между Голядкиным и его начальником Андреем Филипповичем: «Что!.. что?! — Андрей Филиппович потерялся от изумления. Господин Голядкин, который доселе, разговаривая снизу лестницы с Андреем Филипповичем, смотрел так, что, казалось, готов был ему прыгнуть прямо в глаза, — видя, что начальник отделения немного смешался, сделал, почти неведомо себе, шаг вперед. Андрей Филиппович подался назад. Господин Голядкин переступил еще и еще ступеньку. Андрей Филиппович беспокойно осмотрелся кругом. Господин Голядкин вдруг быстро поднялся на лестницу. Еще быстрее прыгнул Андрей Филиппович в комнату и захлопнул дверь за собою. Господин Голядкин остался один. В глазах у него потемнело» [с. 127].

Конечно, хватание за руки и «за лацканы» и «впрыгивание в глаза», виртуальные нападения никак не вписываются в этикет взаимодействия между соподчиненными элементами чиновничьей иерархии России XIX в. По мнению современного исследователя, для русской культуры характерно не просто тождество восприятия символа и реальности, но даже и приоритетность символа по отношению к реальности [см.: Бочаров, 2006б, с. 277, 285]. Парадокс описанной Достоевским ситуации заключается в том, что в ритмизованном мире бытия знак и символ оказываются первичнее реальности, важнее «живой жизни». Такая формализация жизни приводит к тому, что нарушение стереотипов поведения как нарушение древних негласных табу может вызвать разрушение личности, выпадение ее из реальности. Нарушение стереотипов поведения ведет к смене знака, и вот уже поведение Голядкина прочитывается социумом как антиповедение, т. е. обратное, перевернутое, опрокинутое поведение, характер-

ное для «нежити» или «нечисти». Оттого так много в «Двойнике» метафор смерти. Голядкин оказывается полумертвым («едва слышным голосом проговорил полумертвый господин Голядкин» [с. 134]), полуубитым («как потерянный и полуубитый герой наш» [с. 1]. В этом свете особую трактовку получают поведенческие реакции, «оскорбительные жесты» двойника и окружающих, относящихся к нему как к «нечистому», мертвецу: «Руки ему не дал никто <...> знак был дурной» [с. 131]. «Двойник» вытирает руку после рукопожатия, «с грубостию вырвал свою руку из руки господина Голядкина-старшего; мало того, — стряхнул свою руку, как будто замарал ее через то в чем-то совсем нехорошем; <...> вынул платок свой и тут же, самым бесчиннейшим образом, вытер им все пальцы свои, побывавшие на минутку в руке господина Голядкина-старшего» [с. 195].

На протяжении всей повести герой несколько раз «умирает» и «воскресает»: «Господин Голядкин был убит — убит вполне» [с. 138]; «Вы меня оживляете» [с. 150]; «...господин Голядкин возродился полной надеждой, точно из мертвых воскрес» [с. 151]. Потеря социального статуса описывается как потеря жизни, жизненных сил, отсюда желание героя спрятаться в уголок: «Наконец, он добрался до уголка и стал в нем, как посторонний, довольно равнодушный наблюдатель» [с. 134]. Такое мерцающее состояние между смертью и жизнью характерно для обряда инициации. Действительно, согласно древним мифологическим законам право войти на следующую ступень социальной иерархии человек получал, только пройдя через обряд инициации, посвящения, который наш «полумертвый» герой так и не проходит. Таким предвкушаемым Голядкиным «посвящением» мог стать брак с «высокородной» невестой, дочерью благодетеля Олсуфия Ивановича. Свадебный обряд как обряд инициации мог бы стать одновременно и обрядом интронизации героя, его торжественного введения во власть, обретения им харизмы Значительного лица.

Здесь стоит отметить, что в тексте «Двойника» содержится сюжет о неудавшемся сватовстве (несостоявшейся свадьбе) героя, вышедшего из более низких слоев общества. В начале повести Голядкин выглядит и ведет себя как жених (карета, новый вицмундир и т.д.), предвкушает новое рождение («Жил, Крестьян Иванович, жил, жил и прежде. Как не жить» [с. 121]. Обратим внимание на описание именин предполагаемой невесты. Торжественный день рождения Клары Олсуфьевны, единородной дочери статского советника Берендеева, назван «высокоторжественным днем», а сама именинница — «царицей праздника» (6 раз), дочерью «маститого старца». В честь царицы праздника поднимаются «заздравные чаши» с «божественным нектаром». Сам праздник напоминает «пир вальтасаровский» и «отзывается чем-то вавилонским» [с. 128]. Декларативно заявляя, что не обладает «тайной слога высокого, сильного, слога торжественного», автор пародирует одический канон. На наш взгляд, использование одических клише и штампов было необходимо Достоевскому не только для сатирического развенчания жизни чиновничьего общества, но и для актуализации скрытого сюжета «сватовства к царевне».

Появляется на празднике и «соперник» Голядкина, настоящий жених (царевич) Владимир Семенович, «нещечко» (сокровище [с. 120]), «счастливый юноша,

вступающий в свою двадцать шестую весну», обладатель «цветущих ланит» [с. 129], с которым повествователь связывает «добродетель», торжествующую «над пороком и завистью» [с. 129]. Зависть Голядкина вызывает получение Владимиром Семеновичем асессорского чина и его претензия, несмотря на юный возраст, жениться: «Да жениться хочет, когда еще молоко, с позволения сказать, на губах не обсохло» [с. 120]. Голядкин же обделен и природой («отразившаяся в зеркале заспанная, подслеповатая и довольно оплешивевшая фигура была именно такого незначительного свойства, что с первого взгляда не останавливала на себе решительно ничьего исключительного внимания» [с. 109]), и социумом (соперник обходит его в продвижении по служебной лестнице).

Заметим здесь, что из «щелки» Голядкина выманили с помощью письма Клары Олсуфиевны, предлагавшей ему совместный «побег». Но если торжественное событие, задуманное как сватовство, стало моментом социальной смерти, социального самоубийства героя, то предполагаемая «свадьба» превращается в его похороны («Людей была бездна, дам целая оранжерея; все это теснилось около господина Голядкина; все это стремилось к господину Голядкину, все это выносило на плечах господина Голядкина. <...> Ему показалась даже, что слеза блеснула в тусклых взорах Олсуфия Ивановича; он поднял глаза и увидел, что на ресницах Клары Олсуфьевны, тут же стоявшей, тоже блеснула слезинка <...> спокойное достоинство Андрея Филипповича тоже стоило общего слезливого участия <...> юноша... уже горько рыдал» [с. 225].

Таким образом, «несостоявшийся жених» Голядкин не обладает властной харизмой ни по рождению, ни по должности. К тому же, как мы видели, он нарушает властный этикет, поэтому в результате разоблачается как самозванец и в буквальном смысле слова дважды «спускается» с лестницы и отправляется в инобытие.

Возвращаясь к вопросу о причине появления самозванца в жизни Голядкина, отметим, что самозванство проявляется на фоне общей ритуализации жизни. В начале повести Голядкин предстает перед нами человеком, подпавшим под ритм бытия. Ритм будем понимать как упорядоченную данность, уже — наличность, в пульсации которой теряется единица — личность. В «Двойнике» Достоевский, следуя за Гоголем, поставил важную проблему отчуждения в человеке его родовой, подлинно человеческой сущности и подмены ее видовым, сословно-иерархическим началом, чином-званьем. В результате подпадания под ритм бытия человек отказывается от духовного развития в пользу красивой самопостановки в роли. Философское осмысление темы самозванства находим у М. М. Бахтина, утверждавшего: «Пытаясь понимать всю свою жизнь как скрытое представительство, каждый свой акт как ритуальный, мы становимся самозванцами» [Бахтин, с. 52]. Самозванец, который в жуткую ноябрьскую ночь отделяется от своего хозяина, живет в Голядкине уже тогда, когда он бесконечно смотрится в зеркало, окружает себя всевозможными мнимостями — знаками иерархии и власти, хочет быть «как все», «с краю», при этом декларативно заявляя о своей единственности и неповторимости («...я иду своей дорогой, особой дорогой, Крестьян Иванович. Я себе особо и, сколько мне кажется, ни от кого не завишу [с. 116]). Самозванец, обнаруживающий себя в Голядкине

уже в начале повести, доволен собой («остался совершенно доволен всем тем, что увидел в зеркале [с. 110]); «судорожно потер себе руки и залился смехом» [с. 112], но и боится разоблачения.

Появление самозванца провоцируется отказом от себя «как есть» и попыткой воплощения в выдуманную, выбранную роль (костюмированный выход Голядкина в начале повести указывает на эту роль). Момент отказа от себя четко зафиксирован в самом начале повествования («...не я, не я, да и только» [с. 113]) и повторяется той мистической ночью: «Если б теперь посторонний неинтересованный какой-нибудь наблюдатель взглянул бы так себе, сбоку, на тоскливую побежку, господина Голядкина, то и тот бы разом проникнулся всем страшным ужасом его бедствий и непременно сказал бы, что господин Голядкин глядит теперь так, как будто сам от себя куда-то спрятаться хочет, как будто сам от себя убежать куда-нибудь хочет <...> ...даже совсем уничтожиться, не быть <...> в прах обратиться» [с. 139]). В самозванстве слышится заглушенное отчаяние: «Я не есть я. Я больше того, что вы видите». Самозванство — трагический выход для заблудившегося, отказавшегося от собственной долженствующей единственности человека. Увлекшись внешним миром, герой Достоевского так занят самопостановкой собственной персоны, что, заигравшись, начинает трепать себя по лицу и обращаться к себе на «ты»: «Эх ты, фигурант ты этакой! — сказал господин Голядкин, ущипнув себя окоченевшей рукою за окоченевшую щеку, — дурашка ты этакой, Голядка ты этакой, — фамилия твоя такая!..» [с. 132]. Это «ты», которое и есть его маска, его социально адаптированное «я», отделяется от него и начинает жить своей жизнью.

Голядкин представляет собой нечто мерцающее, колеблющееся, неустойчивое, человека без лица, который отчаянно пытается обрести хоть какую-то форму, хоть как-то состояться, натянув на себя маску персоны, заявить себя другим — значительным и важным. Отсюда две противоположные тенденции: с одной стороны, декларативное заявление героя о жизни без маски («Маску одеваю лишь в маскарад, а не хожу с нею перед людьми каждодневно» [с. 117])», с другой стороны, разоблачая окружающий мир как мир маскарада, на самом деле он мечтает хоть о какой-нибудь маске, чтобы за ней спрятаться, скрыться. Появление мотива маски в речах Голядкина — это и дань литературной традиции (романтический штамп), и в то же время, обвиняя весь мир в ношении маски, герой подчеркивает его инфернальный характер. Он один оказывается живым.

Подчеркнем парадоксальность ситуации: срывание маски с самого Голядкина происходит в момент рождения двойника. Только после этого события Голядкин вдруг начинает находить в себе человека, а «свое место» превращается в «свое бытие». Социальные вопросы вырастают до экзистенциальных. Если до появления двойника «свое место» понималось Голядкиным только как место в социальной иерархии, то в письмах Нестору Игнатьевичу и двойнику «свое место» понимается как «свое бытие», а самозванец обвиняется в «странной претензии и фантастическом желании» «вытеснять других из пределов, занимаемых сими другими своим бытием в этом мире, и занять их

место» [с. 184]. Если в начале повести Голядкин рядится, претендует на роль более значительную, чем занимает сейчас, то к концу он вдруг вспоминает важнейший закон бытия: «быть довольным своим местом», «ибо всякий должен быть доволен своим местом» [с. 184]. Этот Божественный, космический закон и одновременно закон социальной иерархии — быть довольным своим местом — Голядкин нарушает в самом начале повести. Пережив личную катастрофу, герой вспоминает о том, что на самом деле важно человеку (жизнь, свое место в бытии, в Божественном космосе), но, к сожалению, поздно.

Парадоксально, но появление двойника вызывает «о ч е л о в е ч и в а н и е» Голядкина, как будто он очистился от всего наносного, маскарадного, ролевого, видового в личности. В нем стал проявляться стержень единственного и неповторимого в мире человеческого «я» (экзистенциального «я» — одинокого, противопоставленного «им всем», обиженного и попираемого). Это очищение сродни очищению перед смертью. Все темное, подлое и при этом социально адаптированное и удачливое, что было в личности самого Голядкин, воплощается в «другом», в двойнике. Но ведь до последнего герой Достоевского завидует своему подлому, но удачливому «молодому» другу.

В конечном счете, «Двойник» — это рассказ о том, как человек отказывается от своей долженствующей единственности (Божественной неповторимости). Ориентированная на социум его часть — Персона — воцаряется, выдавливая из жизни живую личность. Разоблачая в Голядкине-младшем самозванца, Голядкин-старший к нему обращается: «Самозванство и бесстыдство, милостивый мой государь, не к добру приводит, а до петли доводит. Гришка Отрепьев только один, сударь вы мой, взял самозванством, обманув слепой народ, да и то ненадолго» [с. 167—168]. По мнению Н. Михновец, в данном случае в слове «государь» из письменной формы обращения актуализировано в контексте всей фразы его основное значение. «Власть над каждой минутой душевной жизни Голядкина обрел «государь»-самозванец», — отмечает исследователь [Михновец, с. 114].

У Достоевского остается открытым вопрос: является ли болезнь следствием нарушения иерархии или нарушение иерархии — следствие душевной болезни? Точно так же остается открытым вопрос: а болезнь ли это или двойник — реальное лицо? По некоторым признакам Голядкин «болен» уже до своих «действий», «поступков» («...ожидая вдохновения для дальнейших поступков» [с. 118]). «Поступки» же, в свою очередь, усугубляют трагичность ситуации, вызывая появление двойника, трикстера. В «Двойнике» нарушение иерархии становится как причиной, так и следствием «выпадения» Голядкина из социального космоса и появления двойника-самозванца. С другой стороны, для нас важно, что «обожение» социального космоса, религиозное поклонение разного рода социальным отчуждениям, «мнимостям», сакрализация «его превосходительств» напрямую ведут к самозванству личности. В связи с этим перед человеком социальным стоит задача вписаться в общество и не потерять свою личность. Герои Достоевского по-разному ее решают, не всегда с ней справляясь.

Итак, мы увидели, что в ранних произведениях Достоевского тема власти тесно связана с темой иерархического социума. «Начальство» показано как некая

сакральная сила, воплощающая в себе сверхъестественный авторитет. Подчиненные обязаны демонстрировать властным особам паттерны лояльности. Неуважение к «начальнику» чревато гибелью. Наказание — болезнь и смерть. В «Двойнике» Достоевского ремифологизированы древние дохристианские представления о власти как магической силе, связанной с миром мертвых, с предками. Как показал Достоевский, древнерусская концепция власти «праведного» царя, которую еще «припоминают» в кризисные моменты жизни подчиненные, совсем забыта властолюбивыми «превосходительствами». В целом, в «Двойнике» с поразительной точностью и глубиной дана картина чиновничьей культуры середины XIX в. с ее властной иерархией, поведенческими стереотипами и этикетом взаимодействия между соподчиненными элементами.

Андреева Л. А. Сакрализация власти в истории христианской цивилизации. Латинский Запад и православный Восток. М., 2007. 304 с. [Andreeva L. A. Sakralizatsiya vlasti v istorii khristianskoj tsivilizatsii. Latinskij Zapad i pravoslavnyj Vostok. M., 2007. 304 s.]

Бахтин М. М. К философии поступка // Бахтин М. М. Человек в мире слова. М., 1995. С. 22—67. [Bakhtin M. M. K filosofii postupka // Bakhtin M. M. Chelovek v mire slova. M., 1995. S. 22—67.]

Бочаров В.В. Власть и время в культуре общества // Антропология власти : хрестоматия по политической антропологии : в 2 т. / сост. и отв. ред. В. В. Бочаров. СПб., 2006а. С. 225—237. [Bocharov V.V. Vlast' i vremya v kul'ture obschestva // Antropologiya vlasti : khrestomatiya po politicheskoj antropologii : v 2 t. / sost. i otv. red. V. V. Bocharov. SPb., 2006a. S. 225—237.]

Бочаров В. В. Символы власти или власть символов? // Антропология власти : хрестоматия по политической антропологии : в 2 т. / сост. и отв. ред. В. В. Бочаров. СПб., 2006б. С. 274—302. [Bocharov V. V. Simvoly vlasti ili vlast' simvolov? // Antropologiya vlasti : khrestomatiya po politicheskoj antropologii : v 2 t. / sost. i otv. red. V. V. Bocharov. SPb., 2006b. S. 274—302.]

Достоевский Ф. М. Двойник // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. : в 30 т. Т. 1. Л., 1872. С. 109—230. [Dostoevskij F. M. Dvojnik // Dostoevskij F. M. Poln. sobr. soch. : v 30 t. T. 1. L., 1872. S. 109—230.]

Мифы народов мира : энциклопедия : в 2 т. Т. 2. М., 1992. 719 с. [Mify narodov mira : entsiklopediya : v 2 t. T. 2. M., 1992. 719 s.]

Михновец Н. Г. «Двойник» в историко-литературной перспективе // Достоевский и мировая культура : альманах № 20. СПб. ; М., 2004. С. 105—131. [Mikhnovets N. G. «Dvojnik» v istoriko-literaturnoj perspektive // Dostoevskij i mirovaya kul'tura : al'manakh N 20. SPb. ; M., 2004. S. 105—131.]

Успенский Б. А., Живов В. М. Царь и Бог (семиотические аспекты сакрализации монарха в России) // Успенский Б. А. Избр. тр. Т. 1 : Семиотика истории. Семиотика культуры. М., 1996. С. 205—337. [Uspenskij B. A., Zhivov V. M. Tsar' i Bog (semioticheskie aspekty sakralizatsii monarkha v Rossii) // Uspenskij B. A. Izbr. tr. T. 1 : Semiotika istorii. Semiotika kul'tury. M., 1996. S. 205—337].

Статья поступила в редакцию 22.02.2013 г.